

Опасный возраст Леонида Десятникова

НОВЫЕ ЛЮДИ

Петербургского композитора / Леонида Десятникова «новым человеком» можно назвать с большой натяжкой: его музыкальная «карьер» началась поразительно рано и могла бы сложиться вполне успешно, если бы не сознательное и даже декларируемое «аутсайдерство».

Автор трех опер, вокального цикла «Любовь и жизнь поэта» на стихи Хармса и Олейникова, композиции для контртенора и инструментального ансамбля «Свинцовое эхо», многочисленных хоровых произведений, пьес для фортепиано, Десятников к тому же плодотворно работал для театра и кино. Последнее сделало его заметной и желанной фигурой в здешнем светском обществе, но и привело к жесткому решению «уйти в тень». По словам композитора, интервью для полосы «Персонажи» исчерпывает его возможности отвечать на вопросы, не имеющие отношения к музыке.

— Вы живете настоящим, прошлым или будущим?

— Настоящим. Будущим уже бессмысленно — все-таки мне 40 лет. А прошлое забывается...

— Для вас 40 лет — это некий рубеж?

— Как ни странно, многое существенно изменилось за последний год. Забавно, что это довольно резко произошло — вот исполнилось 40 лет, и все поменялось, как в сказке. Ну не в один день, а в течение года. Появилось устойчивое ощущение, что мне уже не 39.

— Это сопровождалось переменами в жизни?

— Прежде всего наметились профессиональные контакты с Гидоном Кремером. Он в последнее время очень увлекся музыкой аргентинского композитора Астора Пьяццолы и много его играет. В одной из программ Гидон пожелал сыграть на бис танго «Утомленное солнце», которое должно было звучать так, как если бы его написал сам Пьяццолла. Я сделал эту транскрипцию. В январе в Театре Елисейских полей вещь была сыграна, и вроде бы получилось неплохо. Позднее была написана еще одна в том же духе — «Счастье мое».

Кроме того, в 1997 году исполняется 200 лет со дня рождения Шуберта. Гидон намеревается представить ряд новых сочинений разных композиторов, написанных специально к юбилею. Мне оказана честь участвовать в этом проекте.

— Вы видите смысл в том, чтобы предлагать слушателю «осовремененного» Шуберта?

— Мы живем в условиях избытка информации — художественной в том числе. Не берусь судить, плохо это или хорошо, но сто лет назад такой проблемы не было. Искусство развивалось не благодаря информации, а вопреки ей. То есть новое появлялось, а старое забывалось...

Сегодня информация никуда не исчезает, поскольку есть техническая возможность все иметь в наличии. И художник вынужден обращаться к предшествующему материалу хотя бы по той простой причине, что у рядового слушателя нет критериев для оценки того, что появляется как бы на пустом месте. Если я пишу музыку «по поводу» Шуберта или Пьяццолы, то слушатель знает, что ему гарантировано по крайней мере некое качество первоисточника, который уверенно лидирует в хит-параде не только несколько недель, но и сколько-то сотен лет. Не что по поводу Шуберта во всяком случае будет комментарием к Шуберту, а не «откуда ни возьмись».

— Вам интересно работать в таком ключе?

— Конечно. Собственно, почему мы откликаемся на заказ? Потому что для нас в этом

есть творческий интерес. В музыке, по-видимому, невозможно изобрести ничего принципиально нового. Хотя бы по той простой причине, что ухо не изменилось. Но можно переменить смысл того, что звучит. Можно сочетать различные смыслы уже готовых звуковых клише, и это даст новое качество. В этом направлении я и пытаюсь двигаться.

— Это вынужденное движение?

— Нет, это органично, поскольку я — дитя своего времени. И даже если приходится браться за работу, которая не соответствует твоей природе, то всегда есть азарт в том, чтобы это сделать — доказать, что ты профессионал.

— Кому?

— В первую очередь себе. Только все равно не докажешь. Бродский писал, что неуверенность в себе увеличивается с каждым годом — это и есть профессионализм. Более-менее утешительная мысль, если не считать того, что неуверенность все-таки возрастает, а творческие ощущения становятся более дискомфортными.

— Принято считать, что академические композиторы страшно далеки от земной жизни...

— Мне еще предстоит разобраться в этом. Пока у меня сохраняется некоторая самоирония, которая позволяет время от времени говорить себе: «В конце концов в магазин ходишь, на метро едешь — ты такой же человек, как все».

— Это единственное доказательство того, что «как все»?

— Нет, не единственное. Ежеутренне я получаю эти доказательства, потому что когда человек еще не совсем проснулся и не выпил вторую чашку кофе, в его голове пронесется то, что можно принять за показатель суетности. Так вот, обычно я сижу на своем диване с первой чашкой кофе и первой сигаретой, и в моей голове, как правило, сплошная суетность, а то и вовсе чушь собачья. Не то чтобы «Утренние размышления о Божием величестве» (кажется, так называется стихотворение Державина)...

— Вам часто приходилось выбирать между идеальным и материальным?

— По большому счету, у меня такого выбора никогда не было (может быть, к сожалению). К тому же я был в достаточно зрелом возрасте, когда мы вплотную соприкоснулись с прекрасным западным «вещным» миром. Он оказался даже более привлекательным, чем мы могли себе представить, и многие пали жертвой его обаяния.

— Этот мир повлиял на ваши вкусы? Вы что-то приняли из того, что раньше на дух не переносили?

— Нет, так радикально мои вкусы не менялись. Мне в принципе всегда нравилось одно и то же. Но меняется мода, да.

Я всегда придерживался немудреной философии одежды, которая заключается в одной фразе: «Нужно одеваться так, чтобы ничто не отвлекало внимания от лица».

Правда, для этого как минимум надо иметь лицо. Разумеется, я вынужден элементарно заботиться о своей внешности, хотя бы для того, чтобы окружающие не увидели в моем безразличии к ней признаков неблагополучия — это отталкивает, особенно в новых социальных условиях. Вроде бы нас учили, что неблагополучный человек — тот, которому надо помочь. Но сейчас подобные обстоятельства не вызывают даже сочувствия.

— Вы — то, что называется «свободный художник», не обязанный ежедневно «являться в присутствие». Но ведь все равно попадаете в другую, гораздо более крепкую зависимость...

— Что вы имеете в виду?

— Вашу работу.

— Да. Это единственный тип зависимости, который мне нужен. То есть, если мне даны какие-то способности, у меня есть некие обязательства по их максимальной реализации.

— Перед кем?

— Не знаю. Долгое время я хотел, чтобы мама и папа мной гордились. Глупо, наверное, да? Но папа не дождался до того момента, когда у меня стало что-то выправляться в жизни. А мама относится ко мне хорошо вне зависимости от положения вещей. Ей не важно, показывают меня, допустим, по телевизору или нет, пишут ли в газете. Она ровным счетом ничего не понимает в том, что я делаю, — она совершенно другой человек, не музыкальный. Ей не важно, что у меня, допустим, есть определенная репутация в каких-то профессиональных кругах. Наверно, она была бы так же рада, если бы я был, допустим, Киркоровым. Ну не Киркоров, но тоже ничего.

— Что пришло на смену этому желанию?

— Ничего. Какие-то желания отмирают с возрастом. Я думаю, человек упрощается с годами, становится более-менее однолущевым, все фокусируется на одной-двух-трех идеях. Может, даже на одной, это было бы идеально.

— На какой одной?

— Работа, допустим. Грубо говоря, работы становится все больше, а жизни как таковой все меньше.

— Вы строите планы на будущее?

— Думаю, что в этом году закончу симфонию «Обряд зимы 1949 года», которую пишу уже пять лет. Это самая масштабная вещь из всего, что я сделал.

— Откуда такое название?

— «Обряд зимы» отсылает нас к «Обряду весны» — именно так по-английски называется «Вечная священная» Стравинского. И 1949 год, и Стравинский — это, условно говоря, важнейшие составляющие моей личной биографии. Стравинский имеет для меня огромное значение и как композитор, и как мыслитель, и как писатель. Человек, темперамент которого мне очень близок. А эстетика 1949 года — важнейшая часть моего детства... Я имею в виду не парадную сталинскую эстетику, а убогий антураж пионерского лагеря и предместья большого города, которое тоже является частью моей жизни и которое я не могу забыть — гипсовые статуи, пионерские песни...

Надеюсь, что по крайней мере до пятидесяти у меня будет очень насыщенный рабочий период. Хотя не исключено, что все уже в прошлом — такие соображения тоже высказывались со стороны. Да и жизнь не перестает испытывать всевозможными соблазнами: ведь я вступил в тот самый опасный возраст между молодостью, которая уже знает, и старостью, которая еще может.

Екатерина ЛАВРЕНТЬЕВА